

СУРРОГАТ ИМПЕРИИ: О ПРИРОДЕ И ПРОИСХОЖДЕНИИ ФЕДЕРАТИВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

С.И. Каспэ

Федерализм остается одной из самых дискутируемых проблем политической науки — вероятно, прежде всего потому, что он остается и одной из центральных тем современной политической практики. Далекие от завершения эксперименты, которым подвергается формально федеративная и сущностно неопределенная российская государственность; испанские, итальянские, британские процессы децентрализации, регионализации, автономизации etc., квалифицируемые многими наблюдателями именно как федерализация (что явно терминологически некорректно, однако же и не случайно); разворачивающееся параллельно им строительство Европейского Союза, делающее, при всех оговорках, сценарий возникновения некоей мегафедерации по меньшей мере возможным; наконец, борьба за укрепление/низвержение глобальной гегемонии США, перед всеми участниками которой с неизбежностью возникает вопрос об источниках этой гегемонии и, следовательно, о том, в какой мере таким источником является уникальный американский федерализм. Чаще всего в этих дискуссиях, и академических, и прикладных, федеративная политическая форма рассматривается инструментально, как ключ, подходящий ко многим замкам; проблема сводится к доказательству или опровержению пригодности федералистского ключа в том или ином конкретном случае, месте и времени. Однако всякий инструмент — и тем более всякая политическая форма — обладает своей собственной, вовсе не самоочевидной для конечного пользователя природой, накладывающей значительные ограничения на его использование. *Природа* же федерализма становится предметом обсуждения гораздо реже, чем ожидаемые результаты его инструментального применения.

При этом контекст современных размышлений о федерализме изменчив, зыбок и неопределен — точнее, этих контекстов сразу несколько, и разграничиваются они нечасто. То ли федерализм есть институциональная гарантия политической свободы* — но Уильям Райкер убедительно показал “отсутствие простой каузальной связи между федерализмом и свободой” [Riker 1964: 15], и решительно непонятно, почему столь многие бесспорно свободные общества (собственно, большинство таковых) без этой гарантии легко обходятся? То ли федерализм есть ценностно нейтральная разновидность институционального дизайна, соотносимая не с проблемой свободы, а лишь с проблемой эффективности, — но по-

КАСПЭ Святослав Игоревич, кандидат политических наук, руководитель аналитической службы Фонда “Российский общественно-политический центр”.

* Сторонники подобного воззрения обычно определяют федерализм как “территориальную форму демократии”, приписывая эту формулу Томасу Джефферсону, — причем сомнительность атрибуции не снижает популярности дефиниции.

чему тогда не существует недемократических (хотя бы отчасти) федераций, а эксплуатация этого наименования откровенно попирающим дух свободы режимом (например, советским) превращает его в фикцию, маскирующую истинное положение дел? То ли федерализм есть закономерный продукт исторической эволюции тех обществ, внутренняя гетерогенность которых превышает некое пороговое значение, и адекватная этой повышенной гетерогенности политическая форма — но, во-первых, практически все общества некогда были гораздо более неоднородными, чем сегодня, и в процессе перехода к индустриальной организации эта неоднородность была успешно элиминирована или хотя бы заметно снижена (пример Франции является хрестоматийным, но не единственным); во-вторых, в мире функционируют и федерации, возникшие в результате как раз довольно интенсивного вмешательства в ход исторической эволюции, причем нередко даже в не слишком гетерогенных обществах (Австрия, Мексика, Пакистан, Танзания, ЮАР).

Непрерывная подмена контекстов превращает споры о федерализме в подобие хора глухих. Разумеется, первым шагом к их упорядочению должно быть строгое определение самого предмета дискуссии. В российской политической науке дальше всех продвинулся в решении этой задачи Алексей Салмин, с жестким заявлением которого — “мы... вправе требовать, чтобы термин ‘федерализм’, если уж он используется, означал что-то особое в сравнении с такими понятиями, как децентрализация, регионализм, автономизм, местное самоуправление или субсидиарность /.../ Причем отличие должно быть качественным, а не только количественным” [Салмин 2002: 44] — нельзя не солидаризироваться. Салмин ориентируется прежде всего на два критических признака федерализма, выделенных Кеннетом Уизэром: “Федеративное правление предполагает, во-первых, что распределение функций между правительствами федерации и штатов не может быть изменено ни федеральным правительством, действующим в одностороннем порядке, ни правительствами штатов, действующими в одностороннем порядке, и, во-вторых, что выполнение федеральным правительством предназначенных для него функций не может контролироваться правительствами штатов и наоборот. Федеративное правление означает, следовательно, разделение функций между сотрудничающими властями (authorities), которые в том, что касается отправления усвоенных ими функций, никак не подчинены друг другу” [Wheare 1991: 83-84]*. Выбор именно этих признаков абсолютно обоснован и эвристически продуктивен — к ним, вслед за Престоном Кингом, стоило бы добавить разве что “особое, или укрепленное (entrenched), представительство [регионов] в процедурах принятия решений на центральном уровне” [Кинг 2000: 14]. Но даже предельно строгого определения термина может оказаться недостаточно в ситуации, когда не сформирована сама рамка словоупотребления, когда аналитическая оптика вообще не сфокусирована. Федерализм, видимо, заслуживает того, что-

* В развернутом виде взгляды Уизэра на природу федеративного правления представлены в: Wheare 1980.

бы рассматриваться в еще более широком контексте, чем это обычно принято, включающем в себя вышеназванные и не сводящемся к ним, — в контексте истории западной политической формы как таковой. Истории, которая может быть описана как долгий процесс деградации имперского начала (и спонтанной его эрозии, и целенаправленного демонтажа) и становления современного государства, вначале территориального, затем национального.

Государство в рамках этой дихотомии понимается, конечно, в узком и исторически конкретном смысле слова, не как предзаданная и единственно возможная форма политической организации, но как “сравнительно недавнее изобретение” [Creveld 1999: 1], возобладавшее над многочисленными альтернативными решениями [Balibar 1992; Winckler 1992]. Причем дело не только в том, что, по справедливому замечанию Олега Хархордина, “когда-то термин этот был результатом лингвистической и политической инновации, и на его утверждение потребовалось много усилий различных институтов и организаций и, прежде всего, самого государства” [Хархордин 2002а: 6], — история понятий есть в то же время история обозначаемых понятиями сущностей, и утверждение в пространстве языка представления о “государстве как об относительно автономном аппарате правления, отделенном как от личности правителя, так и от совокупности управляемых” [Хархордин 2002б: 161], шло параллельно строительству самого этого аппарата в социальной реальности, то опережая события политической истории, то следуя за ними.

Государственная модель диаметрально противоположна имперской (наиболее очевидно это в случае государства национального, которое может рассматриваться как предельное развитие идеи современного государства как таковой, но верно и в отношении промежуточных, менее четко выраженных случаев). Это противопоставление является не только аналитическим, оно имеет под собой глубокое историческое основание — европейское государство и рождалось как не-империя и контримперия, вело с империей продолжительную борьбу и одержало в ней победу (не исключено, что не окончательную, — но об этом позже). Империя есть принципиально разомкнутая, интенционально безграничная, устремленная к совпадению с Ойкуменой структура. Государство, напротив, всегда принципиально ограничено, это сообщество возникает в результате двойного тотализирующего действия — включения (inclusion) “своих” людей и территорий и исключения (exclusion) “чужих”. Империя ориентирована на универсальные, абсолютные ценности, легитимирующие и имперскую экспансию, и самоё существование империи, представляя собой проекцию Вечности в социальную реальность. Государство, напротив, цементируется партикулярными, уникальными ценностями (возможно, в т.ч. и восходящими к абсолютным, но присвоенными и освоенными), сфокусировано на социальном обустройстве *hic et nunc*. Империя допускает широкое разнообразие культурных и политических практик и институтов, обеспечивая лояльность и дозированное участие их носителей в исполнении имперской миссии — и избегая ассимилирующих и унифицирующих действий сверх меры, гарантирую-

щей эту лояльность. Государство, напротив, тяготеет к политической, административной и, в конечном счете (в стадии Nation-State), культурной однородности. Империя ведь вообще не государство *stricto sensu*, и не случайно во многих ее определениях сам этот термин не используется: “сложносоставное политическое сообщество, инкорпорировавшее в себя малые политические единицы” [Armstrong 1982: 131]; “крупная внутренне неоднородная полития, элементы которой связаны с центральной властью системой опосредованного правления” [Tilly 1997: 3]. Коротко говоря, государство — феномен всегда *локальный* и *политический*, империя же — *универсальный* и *метаполитический*.

Федерализм должен быть помещен именно в этот контекст — и оказывается в нем довольно-таки загадочным явлением. Он слишком далеко отклоняется от идеального типа суверенного государства (подвариантом которого выступает в обыденном представлении), фактически отрицая само боденовско-гоббсовское видение суверенитета как *jus in omnia** — точнее, признавая его исключительно в качестве политического Перводвигателя, не подлежащего и недоступного никакому дальнейшему переносу и присвоению какой бы то ни было персоной, группой, институтом или комплексом институтов. Интегральной фигуре суверена противопоставляется дифференцированная множественность принципиально несuverенных политических инстанций, взаимодействие которых носит преимущественно вынужденный и нередко конфликтный характер. “...Отсутствует понятие государства как такового. Политически полномостный народ /.../ учреждает всевозможные правительства и передает им столько власти, сколько считает нужным. Ни одно правительство не является полностью суверенным, оно обладает только теми полномочиями, которые делегированы ему суверенным народом, и потому возможно одновременное существование — рядом друг с другом — нескольких правительств сразу” [Элейзер 1995: 110]. “Верховной власти как таковой не существует; действия любой власти могут быть оспорены” [Остром 1993: 285]. “Идея разделения государственной власти согласно функциональным или географическим критериям противоречит принципу неделимости республики, который после Французской революции был положен в основу становления современного буржуазного государства” [Моммен 1992: 169]. Действительно, в число наиболее страстных прокламаций этого принципа по праву входят антифедералистские филиппики якобинцев, мотивированные отнюдь не ситуативным противостоянием “федералистскому” мятежу, но прежде

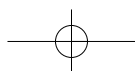
* Недопустимо, конечно, забывать и об ином видении проблемы суверенитета, предложенном в начале XVII в. Иоанном Альтузием, — о его концепции сложносоставного политического тела, *consociatio consociationum*. Дэниэл Элазар не без оснований считает труд Альтузия “*Politica methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata*” “первой книгой, содержащей всестороннюю теорию федерального республиканского устройства” [Элазар 2002: 68]; и начатое Отто фон Гирке, продолженное Мартином Бубером, Карлом Фридрихом, Арендом Лейпхартом и др. возвращение в научный и политический оборот забытых идей Альтузия — дело, безусловно, благое. Однако же в исторической реальности эти идеи были именно забыты и в течение по меньшей мере двух с половиной веков не оказывали решительно никакого влияния на политическую практику.



всего тем глубоким и совершенно последовательным убеждением, что любое разъятие образованного суверенным народом политического тела на отдельные сегменты есть прямое покушение на это тело и, следовательно, на сам народ как источник всякой власти и авторитета — неоспоримо страшнейшее обвинение в рамках системы ценностей классической демократии. “Репрезентативность начинает пониматься как прямое выражение некоей единой воли народа, не допускающей никаких разногласий. Любое ‘особое мнение’ начинает прочитываться как покушение на это выражение народного суверенитета” [Ямпольский 2004: 637], именно поэтому “Сен-Жюст решительно отмечает всякое конкретное и частное представительство, например, представительство территориальных делений” [Ямпольский 2004: 464], а Анахарсис Клоотс горячо клеймит ту самую идею укрепленного [entrenched] представительства частей государства, эту “опасную надстройку, которая обусловлена федеративным правлением, но которая отвергается правлением национальным” [Клоотс 1933: 138]. Это только логично; и почему тогда федерализм все же перестал считаться поправлением фундаментальных оснований государства — нормативной модели политической организации? Почему он не рассматривается и как случайное от них отклонение, простительное только для периферийных политий? Почему федеративное устройство безусловно доминирующих в современном мире Соединенных Штатов Америки воспринимается не просто как легитимное, но часто и как эталонное, если и не подлежащее прямому копированию, то по крайней мере вдохновляющее?

Первым приближением к ответу на этот вопрос должно стать признание множественности федерализмов — концепт слишком, как говорится, overstretched, он покрывает несколько родственных, но различных феноменов, и их механическое стягивание под общий понятийный зонтик отрицательнее всего сказывается на содержательности дискуссий. Конечно, сам факт несхожести федерализмов и федераций — американских и европейских, “дуальных” и “кооперативных”, “сверху” и “снизу”, “договорных” и “конституционных”, “интегральных” и “деволюционных” etc. — никем не отрицается и ложится в основу новых и новых типологий. Однако сравнительный анализ разных типов федерализма, выполненный на фоне длинных исторических трендов и при помощи единой методологии, как кажется, может позволить по-новому взглянуть и на его происхождение, и на его современное состояние. Эта статья — попытка такого рода анализа; ее методологической базой является авторская версия восходящей к Эдварду Шилзу, Шмуэлю Айзенштадту и Клиффорду Гирцу концепции макросоциальных центров [Каспэ 2005].

Исходный пункт этой концепции состоит в том, что “каждое общество, рассматриваемое под макросоциологическим углом зрения, может быть представлено как центр и периферия. Центр состоит из тех институтов (и ролей), которые осуществляют власть, будь то власть экономическая, правительственная, политическая, военная или культурная” [Шилз 1972: 348]. Центр обладает двойкой и двуединой природой. С одной стороны, это центральная ценностная система (central value system,



далее CVS) — “центр того порядка символов, ценностей и верований, который правит обществом” [Shils 1975: 3], его критически важные для обеспечения системной стабильности, нередуцируемые элементы, т.е., в дюркгеймовской трактовке, сакральные. CVS, впрочем, не только воображаемая совокупность этих символических форм, но и локус их активного производства и распространения, равно как и производных от них программ социального поведения: “Шилз реинтерпретирует веберовскую концепцию харизмы, трактуя ее как устремленность к конструированию и достижению такого осмысленного социального порядка, который был бы тесно связан... с областью сакрального. Согласно Шилзу, институционально этот поиск локализован прежде всего в центре или центрах общества” [Eisenstadt 1988: 96].

В другом ракурсе центр предстает как центральная институциональная система (central institutional system, далее CIS), поддерживающая, выражающая и воплощающая заданные CVS нормативные образцы и одновременно получающая от них свою собственную легитимацию. “Симметрично тому, как CVS иерархически упорядочивает пространство символических представлений, CIS иерархически же организует пространство социальных действий, санкционируя одни и воспрещая другие (в т.ч. негативно маркироваться могут и те или иные аспекты поведения правящей элиты)” [Каспэ 2005: 17-18], — поскольку наличная власть выступает всего лишь как несовершенный агент идеального социального порядка, агент более или менее ему адекватный и, соответственно, более или менее одобряемый.

Разумеется, ни CVS, ни CIS не монолитны и не единичны: “Каждому обществу свойственна множественность центров, сцепленных друг с другом, поддерживающих друг друга, имеющих друг с другом персональные связи. Когда я использую термин ‘центр’, я подразумеваю под ним, в собирательном смысле слова, целый кластер центров и контр-центров” [Shils 1988: 253]. То же относится и к перифериям, в общем виде определяемым как “подлежащие интеграции элементы, материал, на котором совершается творческая, социогенная функция центра” [Greenfeld, Martin 1988: IX]. Периферии пересекаются, накладываются, резонируют, формируют собственные субцентры и находятся с господствующими центрами в весьма разнообразных и неоднозначных отношениях. “Центр существует постольку, поскольку ищет и в некоторой степени достигает господства над перифериями; усилия центра при этом обычно ограничиваются традициями (как его собственными, так и периферийными), недостаточностью ресурсов и возможностей, а также сопротивлением периферий, пассивным или активным. Ответы периферий разнообразны; они колеблются от выраженной или пассивной покорности и самосохранения через изоляцию до попыток отделения, сопротивления или даже завоевания превосходства над центром. Периферии могут пытаться стать автономными центрами или заместить собой действующие центры” [Shils 1988: 253-254]. Федеративные модели властной организации и принято описывать как “сосуществование в обществе нескольких равновеликих центров власти” [Захаров 2003: 28] — как

правило, безо всякой рефлексии над содержанием этого якобы самоочевидного понятия. Поэтому применение к ним шилзовской методологии прямо напрашивается.

* * *

Традиционно отчет истории современного федерализма* принято начинать со Швейцарской конфедерации и Нидерландской Республики Соединенных провинций. Их политические практики и впрямь обладают известным сходством с тем, что принято называть федерализмом сегодня. Однако некоторые уникальные обстоятельства обоих этих экспериментов позволяют включать их в поле сравнительного исследования лишь с оговорками, и довольно значительными.

Швейцария с момента своего возникновения, традиционно датируемого 1291 г. (договор Ури, Швица и Унтервальдена, зафиксировавший сложившийся еще в середине XIII в. союз трех “лесных” земель), была прежде всего периферией Священной Римской империи, причем формальную связь с последней расторг окончательно даже не Базельский мир 1499 г., а только Вестфальский 1648 г. Специфику этой периферии определили в первую очередь природные факторы — рельеф и климат сформировали здесь в аномальной степени эмансипированный от имперского центра субцентр, и примитивные автохтонные институты, и локальные ценности которого лишь в очень малой степени подвергались имперскому давлению. Те же факторы не допустили и формирования собственного консолидированного центра — Швейцария оставалась хаотическим, раздираемым распрями, почти неуправляемым конгломератом кантонов, союзных земель и фогтств, “разных, независимых и очень непохожих сообществ, которые по своей структуре представляли сельские общины, маленькие демократические государства, аристократические или экономические олигархии” [Фляйнер 2001]. Этот конгломерат был *naturaliter* перифериен, он функционировал исключительно в соотношении с тем или иным внешним центром (так, по мере ослабления империи роль такого елико возможно удаленного, но значимого внешнего центра стала играть французская монархия). Трудно судить, являлась ли осознанной и целенаправленной стратегия воздержания от попыток самоутвердиться в качестве центра и закрепления за собой именно периферийного статуса, или же ее продиктовали исключительно ресурсные ограничения, непомерность “цены вопроса”, блокировавшая не только инкорпорацию Швейцарии в состав более крупного политического тела, но и преобразование в полноценное политическое тело ее самой, — так или иначе, эта стратегия легла в основу швейцарской идентичности, и элементы ее прослеживаются вплоть до сегодняшнего дня.

Результат оказался отчасти парадоксален — мозаичная Швейцария, чья история пишется как история противостояния империи, очень долго

* Именно современного — некоторые истоки этой западной политической формы, как, впрочем, и всех остальных, отыскиваются и в Греции, и в Риме. Но радикальный разрыв непрерывности между античной и христианской цивилизациями Запада подлежит учету в любом ответственном анализе.

была (и не вполне перестала быть) имперским атавизмом, фрагментом расколотой имперской мозаики*. Этот атавизм продемонстрировал феноменальную живучесть; но трудно не согласиться с Райкером, который видит причины устойчивости швейцарского федерализма не в нем самом, “не в его конституционной форме, но в предоставленных географией уникальных возможностях ведения оборонительных военных операций” [Riker 1964: 12] — и только. Наконец, нельзя не учитывать, что изначальная форма политической организации Швейцарии несколько раз подвергалась существенным преобразованиям (новые конституции 1848, 1874 и 1999 гг.); что первое из этих преобразований было фактически переучреждением, которому предшествовала короткая, но энергичная гражданская война (Sonderbundskrieg); что вся эта череда событий последовала уже за опытом навязанной извне Гельветической республики (1798 — 1803), однозначно унитарной, как и требовал того дух времени и его признанные носители — французские штыки. Это означает, что самое раннее с XIX в. швейцарский федерализм начинает утрачивать собственные традиционные черты и переориентируется на внешние образцы. Швейцарский федерализм современен в той мере, в какой он не является швейцарским, и остается швейцарским (читай — имперским) в той мере, в какой современности сопротивляется. Прямой преемственности между Schweizerische Eidgenossenschaft и современным федерализмом нет.

Историческая судьба Нидерландов также была судьбой имперской периферии. Абсолютно несхожий с альпийским комплекс природных условий (тут — Нижние Земли, там — самые “верхние” в Европе; этому напрашивающемуся каламбуру, право же, не придается никакой объяснительной силы) тем не менее обусловил и здесь формирование дробного конгломерата сообществ, сама собирательность наименования которого является вполне содержательной характеристикой. Первичный импульс, сообщивший этому конгломерату хотя бы относительную целостность, исходил от внешнего центра — герцогства Бургундского, в состав которого с 1387 по 1451 гг. были последовательно включены Фландрия, Геннегау, Голландия, Зеландия, Брабант и Люксембург. Впрочем, этот центр оказался эфемерным, и уже в 1477 г. положившая конец “бургундскому проекту” смерть Карла Смелого привела к включению Нидерландов в Габсбургскую империю, к дальнейшему расширению их состава в правление Карла V и, наконец, к его окончательному определению “Прагматической санкцией” 1549 г. Эта имперская периферия оформилась в качестве таковой лишь незадолго до системного кризиса империи и не успела ни подпасть под сколько-нибудь жесткую зависимость от имперского центра (присутствие имперской власти в Нидерландах оставалось символическим, опосредованным фигурой статхаудера; “сохранялась и ста-

* “Родимое пятно” имперского происхождения Швейцарии замечалось и авторами, оперировавшими совершенно иными исследовательскими языками: “Даже перед лицом грозной военной опасности она оставалась без центральных органов власти и единой армии. Швейцарский союз по-прежнему раздирали внутренние конфликты и восстания, он оставался аморфным средневеково-сословным конгломератом, подобно Империи, от которой он отделился” [Чистозвонов1993б: 210].

рая система представительных органов, которым каждый новый габсбургский династ приносил присягу” [Чистозвонов 1993а: 187]), ни сформировать собственный консолидированный центр — и без того маловероятный сценарий был блокирован быстрым перехватом империей роли внешнего центра. Поэтому обретение Нидерландами независимости, происшедшее всего через 30 лет после “Прагматической санкции” (Утрехтская уния 1579 г.), и сформировало эластичный, полицентричный политический организм — точнее, симбиотическую совокупность политических микроорганизмов, связанных чрезвычайно конкретным *Res Publica*, общим делом самозащиты от принадлежащих к другим весовым категориям соседей.

Дальнейший ход эволюции Нидерландов существенно отличался от швейцарского сценария. Во-первых, совершенно иным оказалось место, занятое ими в европейской и даже глобальной системе, *world-system*, пользуясь терминологией Иммануила Валлерстайна. Валлерстайн полагает даже, что статус Нидерландов в этой системе стал в середине XVII в. центральным. Важно, однако, что тут подразумевается *world-economy*, а не *world-empire*, структура экономических, а не политических взаимодействий. И в своем *акме* Нидерланды не особенно удовлетворяют используемому самим же Валлерстайном определению гегемонии как способности “навязывать свои правила и свои желания... в экономической, политической, военной, дипломатической и даже культурной сферах” [Валлерстайн 2001: 97], разве что по первому и отчасти по четвертому пунктам. Это центр влияния, но не власти, слабый, по большому счету, игрок, без которого некоторое — непродолжительное — время не могли или не желали обойтись сильные. Во-вторых, в независимых Нидерландах почти сразу определился собственный квазицентр — Голландия, которая, не будучи способна (или не желая) полностью ассимилировать прочие сообщества и претворить мозаику *Nederlands* (включавшую не только собственно провинции, но и союзные земли, генералитетские области, свободные сеньории, анклав Юлих-Клеве etc.) в единую *Holland*, смогла тем не менее уверенно обеспечить себе вполне комфортабельную доминирующую позицию. Нидерланды гораздо ближе, чем Швейцария, подошли к трансформации в “нормальное” суверенное государство. Возможно, Райкер слишком категоричен, утверждая, что Нидерланды “после 1672 г. превратились фактически в обычную монархию” [Riker 1964: 12] (имеется в виду низвержение великого пенсионария Яна де Витта и приход к власти статхаудера Вильгельма III Оранского); однако то, например, что падение Батавской республики (1795 — 1806), в отличие от аналогичного эпизода швейцарской истории, привело не к возрождению нидерландских федералистских практик, а к установлению вполне стандартной для своего времени монархии, однозначно говорит об их относительной слабости.

Но неизгладимость отпечатка имперского происхождения все же роднит нидерландский федерализм со швейцарским. Особенно красноречиво свидетельствует об этом факт сохранения за высшим должностным лицом Республики Соединенных провинций имперского титула *статха-*

удера, т.е. наместника, держателя *чужого* достояния, — причем некоторое время осуществлялся и интенсивный кастинг претендентов на роль действительного господина Нижних Земель (так и не пройденный Франсуа д'Анжу и Робертом Дадли, графом Лестером — прежде всего по той причине, что возникший вакуум мог быть заполнен только истинным императором, а не конъюнктурными претендентами на освободившееся место). Отторгнутый реальной политикой внешний имперский центр в символическом пространстве сохранился — хотя бы как зияющая, незаполнимая пустота. Альтернативная CIS была в общих чертах построена, но CVS оказалась гораздо инертнее.

Имперскую генеалогию европейского федерализма подчеркивал и Стейн Роккан: “Ранние федеральные структуры возникли внутри Священной Римской империи... в противостоянии более сильным династическим образованиям, соревновавшимся за господство над этой системой”, причем в число первых включались также “Ломбардская, Бургундская, Эльзасская, Швабская, Рейнская лиги и, конечно, Ганза /.../ Только два из этих оборонительных альянсов пережили яростные атаки территориальных владычеств” [Rokkan 1980: 184] — именно Швейцария и Нидерланды. Раннеевропейский федерализм, таким образом, есть эпифеномен империи, один из вариантов самоорганизации имперской периферии, возникающий при трех условиях:

1. Крайняя удаленность этой периферии — не в физическом смысле, но в смысле социальной дистанции, отделяющей ее от имперского центра и затрудняющей взаимодействие с ним в режиме *feedback loop*. В обоих рассматриваемых случаях размер дистанции был первоначально задан природой (особенно альпийской, почему и история швейцарского федерализма начинается намного раньше), а затем резко увеличен вхождением в кризисную фазу и ослаблением (т.е. отдалением) имперского центра.

2. Неспособность или нежелание акторов этой периферии мобилизовать и сосредоточить ресурсы (материальные, силовые, символические etc.), достаточные для того, чтобы сформировать собственный консолидированный центр, чтобы заявить и утвердить претензию на статус “императора в своем королевстве”, как французские легисты дерзали именовать французских королей уже во времена Людовика Святого [Малинин 1995: 31].

3. Неспособность или нежелание внешнего окружения этой периферии (тех самых “территориальных владычеств”) мобилизовать и сосредоточить ресурсы, достаточные для ее инкорпорации в собственный состав.

Такой федерализм нисходит от распадающейся империи, создается тогда, когда она уже невозможна и отторгается, причем лишь как исключение из общего правила ее распада, согласно которому полицентрические политические организмы поглощаются моноцентрическими. Он появляется только там, где уникальные обстоятельства одновременно блокируют и сценарий включения осколка имперской мозаики в состав гомогенизирующего территориального/национального государства, и сценарий его самостоятельной и суверенной гомогенизирующей трансформации, и, конечно, сценарий отчаянной эвокации утраченного величия, подобно, скажем, Трапезундской и Никейской империям. Скорее всего,

раннеевропейский федерализм (строго говоря, всего лишь два, если не *полтора*, федерализма) и не заслуживал бы столь подробного обсуждения. Но на его примере отчетливо видны особенности периферийного сообщества, с огромным трудом и с невеликим успехом конструирующего субститут имперских CVS и CIS и все равно неспособного окончательно избавиться от ориентации на отторгаемые символические образцы. И, что важнее, этот нисходящий от империи, атактистический федерализм не остался историческим курьезом, обретя со временем второе дыхание и новую легитимность. Однако легитимность пришла к нему извне. Возможность не просто существования, а эффективного, даже более чем эффективного функционирования федеративной политической формы была доказана не в Старом Свете — в Новом.

* * *

Американская федерация возникала в ином контексте и решала иные задачи. Если основной мотивацией раннеевропейского федерализма было стремление эмансипироваться от уже наличествующего имперского центра (и одновременно не слишком приблизиться к стремительно возвышающимся центрам “территориальных владычеств”), то американская политическая инженерия творилась в немыслимых в Европе условиях отсутствия центра вообще. Она была направлена именно на его конструирование — причем из социального материала, не слишком благоприятствующего предприятую. Речь идет не только о том тривиальном факте, что североамериканское общество было изначально полицентричным, что колонии Восточного побережья были очень слабо связаны с метрополией, не объединялись никакой общей административной структурой и к тому же во многих отношениях совершенно не походили друг на друга — в деталях описанные Дэниелом Бурстином [Бурстин 1993а] пуритане Массачусетса, квакеры Пенсильвании, “жертвы филантропии” Джорджии, плантаторы Вирджинии (да еще диссиденты Род-Айленда, да еще гугеноты Южной Каролины, и даже католики Мэриленда...) установили у себя весьма различные жизненные уклады. Речь о том, что образованию консолидированного центра препятствовали некоторые ключевые и политически референтные элементы утвердившихся в колониях коллективных представлений.

Здесь имеется в виду, конечно же, специфика одной из возросших на американской почве версий протестантизма — новоанглийского и в особенности массачусетского пуританства. При всем только что упомянутом разнообразии религиозных практик (и производных от них политических культур) отдельных колоний рамочные параметры макросоциальных взаимодействий, в т.ч. между штатами, задавались Новой Англией. Ее доминирование наложило свой отпечаток и непосредственно на процесс оформления американского конституционного дизайна — именно Массачусетс первым из штатов выработал (в 1780 г.) собственную конституцию, и она же впоследствии послужила образцом для Конституции федеральной. “Отцы-основатели ориентировались исключительно на новоанглийскую конституционную модель. Кроме того, в Конституционном Конвенте наибольшее влияние принадлежало делегатам Новой Англии, особенно Коннектикута и

Массачусетса. Принципиальнейший ‘коннектикутский компромисс’ был инициирован теми, кто уже привык к новоанглийскому устройству легислатуры, в котором одна палата формировалась из делегатов городских общин. Он стал краеугольным камнем федеральной системы” [Elazar 1993].

Ядром же пуританских представлений с того ноябрьского дня 1620 г., когда “Мэйфлауэр” обогнул мыс Код и пристал к берегу, была “федеральная теология”, полагавшая, среди прочего, легитимными лишь формы социально-политической организации, созданные по модели Завета между Богом и народом Израиля. Это договор — но вовсе не “общественный договор”, не *Contrat social*, а именно Завет, *Covenant*, одной и ведущей стороной которого выступает потусторонний Бог, другой и ведомой — совокупность множества посюсторонних человеческих существ, только в момент коллективного акта установления связи с Абсолютом и лишь его силой преобразуемая в полноценное общество*. Предпринятое Элазаром подробнейшее исследование политических преломлений теологии Завета вообще, федеральной теологии в частности и ее определяющего влияния на американский вариант федерализма [Elazar 1998] сильно проигрывает в пересказе, однако без хотя бы двух цитат не обойтись: “Первоначально субъектами ковенантов, заключавшихся в масштабах городов и конгрегаций, выступали индивиды и семьи. Параллельно им развивалась сеть добровольных ассоциаций — коммерческих, общественных, церковных и гражданских — формировавших на принципах свободной ассоциации негосударственный компонент гражданского общества. Сети сообществ первого рода трансформировались в колонии, впоследствии штаты. Наконец, сеть штатов была связана федеральным союзом, с которым опять же соседствовала аналогичная сеть добровольных ассоциаций” [Elazar 1998: 16]. Точнее, федеральный союз возник не только из собственно пуританских представлений, но из алхимической реакции, в которую они вступили с иным интеллектуальным влиянием: “Американская федеральная система порождена одновременно теологическим и философским осмыслением Завета (*covenantal thought*) и политическим опытом нарождающегося американского народа, в конце XVII в. связавшего себя ковенантом. Идеи ковенанта пришли в Новый Свет вместе с жизненным укладом переселенцев и пуритан, основавших Новую Англию; еще одним компонентом стали идеи, проникшие в Америку через учения ‘новой политической науки’, в особенности Харрингтона, Локка, Монтескье и Шотландского Просвещения. Именно поэтому федерализм в Соединенных Штатах — не просто политический прием, позволяющий разделить и распределить власть между правительствами штатов и федеральными властями, но прежде всего *форма* американской политики... т.е. генеральный принцип устройства всех ее аспектов” [Elazar 1998: 16].

Здесь стоит отметить два пункта. Во-первых, американское федеративное устройство изначально легитимировалось сакральным образом. Ко-

* Подробнее о “федеральной теологии” в ее соотношении с более широким явлением “теологии Завета” см. Weir 1990; об отражении в *Mayflower Compact* идей “федеральной теологии” и о преемственности конституционной эволюции Соединенных Штатов в интервале 1620 — 1787 гг. см. Kendall, Carey 1995.

нечно, то, что религию в Соединенных Штатах “следует считать первым политическим институтом этой страны”, было ясно еще Алексису де Токвилю [Токвиль 1992: 223], и без исследований политического *sacrum*'а [Bellah 1967, 1992; Cherry 1998] американская полития не может быть достаточно понята. Но именно ее федеративное строение с подобной точки зрения рассматривается чрезвычайно редко; между тем федеративная структура американской политии была непосредственно детерминирована импортированной из Европы, преобразенной сообразно местным условиям и укоренившейся в социальной почве Нового Света CVS (протестантской в своих главных чертах). Безусловно, “по мере развития плюралистических и демократических процессов религиозная основа американской политической культуры все более отходила сначала от пуританских, а потом и от собственно протестантских корней” [Легойда 1999: 166], да и от общехристианских тоже; однако, даже утрачивая признаки религиозного *stricto sensu*, эта CVS по сей день сохраняет признаки сакрального в дюркгеймовском понимании — то есть в том самом, на которое ориентировался в своих построениях Шилз.

Во-вторых, содержание этой CVS объективно и жестко препятствовало выдвигению каким бы то ни было социальным институтом или группой претензий на роль ее монопольного носителя и выразителя. Очевидно, что подобная позиция в социальном порядке весьма привлекательна и редко остается вакантной. “Трансцендентный центр должен быть разъяснен и интерпретирован посредством института своих функционеров, утверждающего самого себя как инструмент трансцендентной власти. Такой институт — церковь, секта, религиозный уклад — есть земной центр, репрезентирующий центр трансцендентный” [Shils 1988: 254–255], точнее, сплавляющий в амальгаму горнее и дольнее и в оригинале именуемый Шилзом “*earthly-transcendental*”. Но “пуритане... предпочитали говорить о ‘церквах’, а не о ‘церкви’ Новой Англии” [Бурстин 1993а: 28], и это предпочтение множественного числа отнюдь не случайно. Практическим выражением “федеральной теологии” был конгрегационализм [подробнее см. Miller 1983], убеждение в необходимости и ненарушимости полной автономии каждой христианской общины, связанной своим собственным ковенантом с высшей религиозной инстанцией и потому не подлежащей встраиванию ни в какую посястороннюю иерархию, безразлично, церковную или государственную. Легитимность политических объединений основывается исключительно на договорах-ковенантах; с одной стороны субъектом всех этих договоров выступает трансцендентный Бог; с другой — неслиянное множество гражданских/религиозных общин, каждая из которых репрезентирует самоё себя непосредственно перед Богом и не может быть репрезентируема более никем; малейшая угроза узурпирующей репрезентации воспринимается как покушение на *самое святое* — буквально! — и встречает активное противодействие*. Такова американская CVS.

* Весьма глубоко укорененная в Америке традиция *демонизации* федеральной власти может быть в этом контексте прочитана буквально.

Задача конструирования CIS, адекватной этой уникальной CVS, все же оказалась решаемой и была решена — но потребовала новаторских идей, нетривиальных технологий и преодоления ожесточенного сопротивления. История борьбы за американскую Конституцию, борьбы, в которой коллективный гений Публия [Федералист 2000] (т.е. Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея) возобладали над опасениями Катона, Брута, Цинцинната, Агриппы и многих других [Borden 1965], хорошо известна; поэтому имеет смысл ограничиться указанием лишь на один ее аспект. Для авторов “Федералиста” необходимость создания более тесного союза была мотивирована сверхценно (что не мешало строгой рациональности аргументации) — категорическим императивом самосохранения американского социума, которому в противном случае, по их мнению, суждено было бы погибнуть от внутренних распрей и внешних угроз. А для этого требовалось *сконцентрировать* власть — но таким образом, чтобы ни в малейшей степени не были ущемлены *священные* прерогативы локальных сообществ и штатов. “На самом деле подлинной целью Американской Конституции было не ограничить власть, но создать больше власти, надлежащим образом конституировать и поставить на место Конфедерации совершенно новый центр, призванный компенсировать новообразованной республике, обладающей огромной и к тому же расширяющейся территорией, власть и авторитет, утраченные в результате отделения колоний от английской короны” [Arendt 1965: 152]. Суждение Ханни Арендт верно; но за скобками остается вопрос об источниках этой и впрямь “совершенно новой” власти, которые никак не могли быть заимствованы у уже имеющихся правительств. Не случайно Мэдисон последовательно отвергал крайне нежелательные для федералистов подозрения такого рода: “Не штаты должны уступить свою власть национальному правительству, но скорее сама власть центрального правительства должна быть усилена” [цит. по: Arendt 1965: 151]. Но как?

Соединяемые штаты, чтобы соединиться, должны были быть помыслены как обладающие двумя автономными модусами государственного бытия — и неприкосновенным изначальным, сохраняющим их уникальную политическую субъектность, столь страстно воспевавшуюся, например, делегатом Конвента 1787 г. Оливером Элсвортом (“Мое счастье в той же мере зависит от существования правительства моего штата, в какой новорожденный, чтобы питаться, зависит от своей матери” [цит. по: Бурстин 1993б: 508]), и новым, включенным в состав более крупного метаполитического организма. Аналогичному удвоению подверглась и индивидуальная политическая идентичность граждан — каждый из них оказался в зоне действия двух (в действительности еще большего числа, если вспомнить о локальных сообществах) параллельных и непересекающихся юрисдикций. Более того, был скрупулезно выработан и соответствующий конституционный дизайн — то бесчисленное множество конкретных институциональных решений, checks and balances, благодаря которым “несколько народов действительно сливаются в одну нацию для решения общих для них интересов, что же касается всех прочих вопросов, то они остаются отдельными народами, образующими федерацию”

[Токвиль 1992: 133]. Возникла, по удачному выражению Леонида Смирнягина, “столбчатая”, а не “слоистая” структура [Смирнягин 1998: 44], в рамках которой разновысокие вертикали власти нисходят от соседствующих, сотрудничающих и соперничающих центров к атому этой политики, суверенному гражданину, — или, точнее, восходят от него, поскольку его суверенная воля продолжает почитаться единственным источником всякой власти. Почему столь сложная операция удалась, в какой мере конечный успех предприятия был обеспечен гениальной политической мыслью, творившей это новое политическое тело, а в какой — самой его спонтанной эволюцией, сколько в Соединенных Штатах от конструкта и эксперимента, а сколько — от социальной органики, с точностью определить, видимо, невозможно. Ясно, что однозначные суждения здесь неуместны, а истина, как это ей свойственно, где-то посередине.

Так или иначе, Райкер совершенно точен, когда говорит об “изобретении в 1787 г. федерализма нового типа, в результате чего в современном мире *централизованный* федерализм в целом вытеснил свойственный более ранним эпохам федерализм *периферизованный* (peripheralized)” [Riker 1964: 9] — то есть тот самый центробежный, удаляющийся от имперского центра, отторгающий его (и его национально-государственные субституты) и этим активным отторжением сохраняющий его в качестве значимого Другого. Американский же федерализм, несмотря на известное сходство с раннеевропейским, в некотором отношении диаметрально ему противоположен. Здесь полный разрыв связи с чудовищно удаленным во всех смыслах британским центром (кстати, тоже имперским) был быстрым и необратимым. Результатом Войны за Независимость стало окончательное закрепление сложившихся задолго до нее и немыслимых в Европе условий отсутствия центра на практике и неприемлемости самой его идеи в теории. Американский центр конструируется вопреки этим условиям и в обход них. Поэтому утверждение Элазара — “федерализм можно рассматривать как конституциональное средство вмешательства в естественный ход вещей с целью предотвратить... иерархизацию и централизацию” [Элейзер 1995: 111] — в американском случае попросту антиисторично*. Эту-то задачу вполне успешно решали Статьи Конфедерации — до такой степени успешно, что стали восприниматься как угроза выживанию американской политики. Вмешательство в естественный — для Америки! — ход вещей действительно произошло; однако целью его было учреждение *хоть какого-то* центра и *хоть какой-то* иерархии, а не ослабление уже существующих. И, кстати, болезненный процесс вставания федерального центра в отторгающее его американское политическое тело продолжается до сих пор — в этом контексте стоит рассматривать, скажем, исследованную Джозефом Циммерманом [Zimmerman 2005] практику “федерального упреждения” (federal preemption), “идея которой лучше всего передается русской поговоркой ‘кто смел, тот и съел’” [Салмин 2002: 46], а суть состоит в активном и даже агрессивном заполнении федеральным Конгрес-

* Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых своих текстах Элазар использовал гораздо более точный термин “noncentralization” [см. Захаров 2003: 71].

сом множества правовых лагун, неизбежно присутствующих в юридическом пограничье между компетенциями федеральной власти и властей штатов. Но прямое посягательство вашингтонского правительства на прерогативы штатов продолжает оставаться табуированным. Если — фантастическое допущение — в США была бы выдвинута политическая программа “выстраивания единой вертикали власти”, то ее автор еще недавно оказался бы в сумасшедшем доме или на виселице (да и сегодня только общее смягчение нравов уберегло бы безрассудного от этой судьбы).

Существенной особенностью политики, образовавшей центр столь нестандартным способом, было то, что она расширялась — непрерывно и в целом беспрепятственно, поскольку не встречала, в отличие от европейских политий, сопротивления иных макросоциальных центров. Федерация с изначально неопределенным и подлежащим дальнейшему приращению составом субъектов (что подчеркивается в 43 письме “Федералиста” и прямо следует из четвертой статьи Конституции США) стала наиболее адекватной политической формой этого потенциально безграничного сообщества. Именно безграничного, поскольку указывает на пределы территориальной экспансии этих United States лишь то, что они — of America. Часть света — весьма обширная рамка, причем заданная исключительно географически и природно, а не социально и политически (более того, география нимало не помешала обретению в 1959 г. прав американского штата расположенными в *Океании* Гавайями, в результате чего на политической карте мира возникла редко замечаемая катахреза). Напрашивается аналогия с другим политическим сообществом, первая Конституция которого, принятая в 1918 г., также отличалась едва ли не вселенским размахом, суля конечное превращение вовсе лишеной всякой привязки к физическому пространству Союза в “Мировую Социалистическую Советскую Республику”... Впрочем, и размах американского проекта был таковым же: как замечает Брэдфорд Перкинс, “даже в колониальный период... слово ‘Америка’ вовсе не означало географическое понятие” [Перкинс 1993: 52]. Он приводит датированные 1771 г. стихи Тимоти Дуайта, которые в данном контексте вполне позволяют обойтись без цитирования хорошо известных многочисленных трудов, посвященных фундаментальной роли экспансионистских ориентаций в американской политической культуре:

Привет тебе, Земля света и славы! Твоя власть будет
Простираться вплоть до омывающих тебя морей,
По всему миру распространится слава о тебе,
И дикие народы покорятся твоему скипетру.
И сыны твои поплывут к студеным берегам,
Или помчатся на всех парусах в Азию навстречу шторму.

Здесь можно было бы построить еще одну, параллельную линию рассуждений, в которой связывались бы представление тех самых пуритан Массачусетса об Америке как о “Граде на холме” (формулировка первого губернатора колонии Джона Уинтропа), фигурирующая в стихотворении

Дуайта “Земля света и славы”, “любимая Богом нация” из Геттисбергской речи Авраама Линкольна, “нация, избранная Им, дабы направлять духовное возрождение мира”, из многочисленных выступлений сенатора Альберта Бевериджа, “особое благословение, пребывающее с нашей страной на протяжении всей ее истории” (инаугурационная речь Билла Клинтона), наконец, “ярчайший маяк свободы и возможностей... защищающий все благое и справедливое в нашем мире”, упомянутый Джорджем Бушем в его Обращении к нации 11 сентября 2001 г. Но мессианский компонент американского политического сознания, неотделимый от экспансионистского, также хорошо изучен [Merk 1995; Stephanson 1995].

Итак, возникает образ дробного, гетерогенного и притом ориентированного на практически беспредельное распространение политического сообщества, легитимация которого носит ярко выраженный сакральный характер, а миссия выражается через апелляцию к абсолютным и универсальным ценностям (причем феномен “гражданской религии” позволил сохранить такое самовосприятие и в нынешнюю секулярную эпоху). Федеративное устройство этого сообщества прямо выводится из его парадигматических оснований или, точнее, является одним из них. И тогда проясняется смысл цитированных выше утверждений Элазара и Острома о несовместимости федерализма в его идеальном типе с классическим представлением о государстве. Ближе всего к идеальному типу федерации, по общему мнению исследователей, США; Дуглас Вернэ вообще считает США единственной подлинной, “федеральной федерацией” [Verney 1995: 88]; и американский федерализм действительно отрицает сущностно и территориально ограниченное государство — поскольку утверждает иную, альтернативную государству, открытую и расширяющуюся политическую форму. Образ узнаваем. Это империя.

* * *

Строительство американской империи продолжается уже два с небольшим века (что, впрочем, для империи не срок — ни один, ни другой, ни третий Рим тоже не сразу строились) и, вероятно, еще далеко от завершения, более того, конечный успех предприятия остается гадательным. Но контуры возводимого здания уже вполне позволяют его идентифицировать. Собственно говоря, основатели США использовали термин “империя” совершенно открыто, не испытывая никаких сомнений в его правомерности и точности. Александр Гамильтон именует Америку империей в первых же строках первого же письма Федералиста [Федералист 2000: 29] (а яростный антифедералист Патрик Генри восставал как раз против того убеждения, что “мы должны быть великой и могущественной империей” [Elliot 1896: 30], — и проиграл). Томас Джефферсон в 1809 г. еще увереннее говорит об “империи свободы” [Бурстин 1993б: 528]. И в 1900 г. сенатор Беверидж мог себе позволить произнести речь “В поддержку Американской империи”, прочитывая Конституцию как прямой “призыв к росту, к экспансии, если угодно, к империи, не ограниченной географией, климатом и вообще ничем, кроме жизненных сил и возможностей Американского народа” [Beveridge 1900: 708], и рассматривая завладение

Филиппинами как исполнение лежащего на США священного долга водворения свободы в любом погруженном во тьму варварства уголке мира. Затем слово “империя” оказалось надолго дискредитировано; но прошло сто лет, и Майкл Игнатиефф вновь задал простой вопрос: “Как еще, если не ‘империей’, можно назвать то потрясающее нечто (awesome thing), которым стала Америка?” [Ignatieff 2003: 22]. Действительно, как?

Дополнительно подтверждает интенционально имперскую природу США постоянство ассоциаций между Америкой и Римом, эталоном империи. Не случайно “основатели Соединенных Штатов без колебаний заимствовали символику Римской республики. /.../ Здание, где заседал законодательный орган, назвали не парламентом, а Капитолием; верхнюю его палату окрестили сенатом; ручей на Капитолийском холме в шутку стали величать Тибром. На большой государственной печати Соединенных Штатов приведены два изречения из Вергилия: *Annuit coeptis* (‘Он благосклонен к нашему начинанию’) и *Novus ordo saeculorum* (‘Новый порядок на века’)” [Линд 2002: 92-93]. И как почти буквальная реминисценция данной тем же Вергилием хрестоматийной формулировки имперской миссии* звучит страстный пассаж из упомянутой выше речи сенатора Бевериджа: “Бог сотворил нас господами и устроителями мира, водворяющими порядок в царстве хаоса. Он осенил нас духом прогресса, сокрушающим силы реакции по всей земле. Он сделал нас сведущими в управлении, чтобы мы могли править дикими и дряхлыми народами. Кроме нас, нет иной мощи, способной удержать мир от возвращения во тьму варварства. Из всех рас Он сделал Американский народ Своим избранным народом, поручив нам руководить обновлением мира. Такова божественная миссия Америки” [Beveridge 1900: 711].

Бесспорно демократическая природа американской политики может рассматриваться как препятствие к тому, чтобы квалифицировать ее как имперскую, лишь по недоразумению. Мнение о принципиальной несовместимости империи и демократии распространено, но неубедительно. Оно возникает, как правило, из буквального отождествления демократии со свободой, а империи с ее противоположностью — отождествления поспешного, не подтверждаемого историческими реалиями, игнорирующего сложность и неоднозначность сопряжения политических конфигураций с миром ценностей. Такие понятия, как “империя”, “демократия”, “республика”, “государство”, — не жестко определенные термины-инварианты, но текучие концепты, переосмысливающиеся и трансформирующиеся, вступающие в многосложные отношения друг с другом. Михаил Ильин в соответствующих разделах своей книги-гlossария [Ильин 1997] демонстрирует, каким образом неоднократно менялось их содержание, как возникали при этом многочисленные филиации смыслов, позволявшие в разные времена трактовать империю как частный случай республики, республику как частный случай империи, демократию как синоним

* Ты же, о римлянин, помни — державно народами править;
В том твои будут искусства, вводить чтоб обычаи мира,
Милость покорным давать и войною обуздывать гордых
Энеида, VI, 847-853.

республики, империю как “инкубатор” демократии etc. В конце концов, противопоставление империи и демократии неприемлемо потому, что эти концепты функционируют в разных плоскостях. Феномен демократии на протяжении нескольких последних столетий прочно связан с современным государством — но отсюда логически не следует, что демократия мыслима лишь в контексте этой однажды возникшей и, как считают многие (возможно, что и поспешно), уже отживающей политической формы. Процесс конструирования и переконструирования политических смыслов не завершен и в принципе не может быть завершен — и далеко не все обличья как империи, так и демократии нам уже знакомы.

Таким образом, американский федерализм роднит с раннеевропейским тесная, сущностная, генетическая связь с империей. Но американский федерализм зеркален раннеевропейскому. Он возникает не тогда, когда империя *уже* нежелательна, а тогда, когда она *еще* невозможна. Он не *нисходит* от империи, а *восходит* к ней (кстати говоря, ведь и путь Рима к империи лежал именно через строительство Римско-Италийской федерации). Райкер прав, называя федерализм “эффективной альтернативой империи” [Riker 1964: 9]; однако эффективной альтернативой может считаться и временный паллиатив.

Но это парадоксальная, если угодно, атипичная империя. Начало Риму было положено определением померия, границ священного участка, т.е. территориальной привязки макросоциального центра (причем не произвольной — сперва Ромул очертил квадрат, *templum*, храм в небе и лишь после его удостоверения знамением 12 коршунов “он был спроецирован на землю и определил территорию города” [Кнабе 1994: 254]). Проекция центра извне и свыше в место, претворенное тем самым в единственно мыслимый локус власти, и сформировала “сознание того, что Рим есть особое, неповторимое... явление, отделенное от окружающего мира, как бы стоящее иерархически несравненно выше его, а народы этого мира более или менее неполноценны и созданы для подчинения” [Кнабе 1994: 255]. С тех пор история Рима в Европе, строго говоря, не прерывалась и не была прекращена даже триумфом национально-государственной модели политической организации. Обещанные Сивиллиными книгами 12 веков собственно римской истории; часто смехотворная, но всегда искренняя имитация империи варварами; империя Карла Великого, признанная в качестве таковой римской Церковью, бесспорным earthly-transcendental центром Запада; долгая история Священной Римской империи, упраздненной Наполеоном только в 1806 г. и лишь для того, чтобы основать опять же империю (и даже Корсиканцу для этого потребовалась санкция римского понтифика); разновременные ответвления от этого основного ствола — византийское, московско-петербургское, советская “империя зла”, Габсбурги, Второй и Третий Рейх; наконец, проект объединенной Европы, вызывающий прямые структурные аналогии с имперской моделью [Sartre 1992; Winckler 1992]. Но однажды фрагмент этой цивилизации — западной, европейской и ipso facto римской — оказался поставлен в немыслимые в Европе условия полного обрыва связи с традиционным имперским центром, пресечения всяких исходящих от него эманаций (здесь несуществен знак

эмоционального отношения к этим эманациям — находясь в Европе, их можно было ненавидеть, но нельзя было не ощущать). Эта ситуация могла возникнуть только за пределами традиционной Ойкумены — в Новом Свете, уже нанесенном на географические карты, но отсутствовавшем на политической *mental map*. Расторжение последних политических уз, соединявших Новый Свет со Старым, — слабой, делегитимированной связи с британской короной — довершило дело. Впервые в истории Запада европейский по своему происхождению социум *остался без центра*.

Америка была лишена самоочевидного центра — точнее, CVS сложилась, но, как показано выше, блокировала “нормальные” способы формирования CIS, в т.ч. производство имитирующих имперский центр подобий (а этот сценарий рассматривался — армия не случайно предлагала корону Джорджу Вашингтону; его отказ, впрочем, тоже не был случайным). Поэтому единственно возможным институциональным центром стало удивительное образование — округ Колумбия, предельно искусственный конструктор, вообще как бы вынесенный за пределы американской политики*. Лишь в 1961 г. XXIII поправка к Конституции предоставила жителям Вашингтона право голоса на выборах президента, а полноценного представительства в обеих палатах Конгресса они не имеют по сей день, даже вопреки одному из фундаментальных принципов американской демократии: “No taxation without representation” (в отличие от населения Пуэрто-Рико, Вирджинских островов, Гуама и Американского Самоа, вашингтонцы подлежат федеральному налогообложению). Это жесткое, на грани фола, до сих пор оспариваемое институциональное решение продиктовано усвоенной американцами фобией консолидированного центра, создать который позволило лишь то обстоятельство, что “в Америке задачи легитимации политической власти и кристаллизации коллективной идентичности были разрешены до кристаллизации политического центра. В результате последнему было достаточно сосредоточиться на организационных и регулятивных проблемах” [Seligman 1987: 170]. Этот центр оказался, с европейской точки зрения, кастрированным, неполноценным — отсюда известный пассаж Токвиля, даже усомнившегося в его существовании: “В Соединенных Штатах нет столицы: свет, в смысле власть, рассеян по всей огромной стране; лучи человеческого разума вместо того, чтобы исходить из единого центра, отовсюду сходятся туда и там перекрещиваются; американцы ни одно место в своей стране не сделали центром всеобщего руководства человеческой мыслью, так же как нет там и единого руководящего делового центра” [Токвиль 1992: 151]. Но фобия центра себя оправдала. Именно она стимулировала изобретательнейшую политическую инженерию, позволив (точнее, заставив) выстроить систему соположенных, но не соподчиненных институциональных субцентров, ориентированных на общий ценностный центр. Систему гибкую, сохраняющую в неприкосновенности автономную субъект-

* Совпадение почти правильной квадратной формы округа Колумбия (которая была бы совсем идеальной, если бы Вирджиния исполнила свое обещание и, вслед за Мэрилендом, предоставила все первоначально обещанные для этой цели земли) и квадратных же очертаний римского померия является, наверное, случайным. Или нет?

ность каждого ее элемента (в т.ч. тех, которые, как вышеперечисленные ассоциированные с США территории, наделены отличным от стандартного объемом прав и обязанностей, что придает политике функционально оправданную асимметрию — в полном соответствии с канонами имперского правления) и все же скрепляющую их в *неединое целое*. Систему, которая, как и раннеевропейские федерации, представляет собой *суррогат империи* — в одном случае отторгнутой, в другом взыскуемой.

* * *

Все позднейшие федерации учреждались уже с учетом американского опыта, в порядке его более или менее осознанной и более или менее интенсивной рецепции. Замечание Салмина — “по мере ее роста американская демократия начинает несколько идеализироваться в Европе (гораздо больше, чем, например, швейцарская, казавшаяся многим неповторимым локальным и, иногда, даже архаическим исключением — реликтом), и демократия как политическая система подсознательно воспринимается... через призму американского опыта” [Салмин 1997: 14] — столько же относится к федерализму, сколько и к демократии. Однако эти учредительные акты отвечали каждый на свой собственный, уникальный вызов, и потому их результаты оказались очень разными, до такой степени, что сформировать концептуально однородное поле сравнительного исследования федераций не удалось до сих пор, несмотря на постоянные попытки такого рода. Возможно, здесь индивидуализирующий подход в целом продуктивнее компаративного; но некоторые наблюдения все же могут быть сделаны.

Федерации Нового времени членятся на несколько легко различимых классов, не образующих, впрочем, связной типологии. Один класс — это Канада, Австралия и Индия, в которых (в 1867, 1901 и 1950 гг. соответственно) была в рамках и средствами той же англосаксонской политической культуры решена почти та же, что и в США, задача формирования множественной совокупностью достаточно автономных политических субъектов нового, нейтрального по отношению к любому из них макросоциального центра. Отличия от американского сценария состоят в том, во-первых, что контекст этого процесса был задан не радикальным разрывом с внешним имперским центром, а плавным, длительным, управляемым удалением от него, причем в случае Канады и Австралии формальная связь с британской короной не разорвана до сих пор; в том, во-вторых, что эти предельно периферийные и гораздо менее ресурсно обеспеченные, чем США, политики по понятным причинам никогда и никем не рассматривались в качестве эталона организации политических взаимодействий. Другой класс — латиноамериканские федерации (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика), порожденные сочетанием объективной слабости институционального центра, необходимости обеспечить местным нотаблям адекватное их потребностям количество статусных позиций и отсутствия иного авторитетного институционального образца, кроме североамериканского. Третий — “вынужденные федерации”, возникшие из невозможности иным способом притормозить “разбегание” все более автономизирующихся субцентров (Бельгия, Россия, Эфиопия, Нигерия, Сербия и

Черногория). Особняком стоит случай Германии, предпринятая союзниками принудительная федерализация которой открыто мотивировалась стремлением не допустить восстановления этой политией консолидированного центра, “предотвратить аккумуляцию власти и злоупотребление ею” [Васильев 2000: 133]. Успех федералистского проекта был обеспечен в т.ч. и имперским прошлым Германии, сохранением в ней традиций множественной политической субъектности (впрочем, степень их прочности не стоит преувеличивать — так, хотя новые административные границы земель совпали с историческими лишь в исключительных случаях, это не вызвало особых проблем)*. По-своему уникальны, конечно, и обновленная федерация Швейцарии, и федерации Австрии, Малайзии, Пакистана, ЮАР, Танзании и т.д. вплоть до Коморских островов.

Во всех этих странах федерализм принес разные плоды, иногда сладкие, иногда горькие. Но отсутствие в его основании сакральной санкции делает “вторичный” федерализм (в отличие от “нулевого” раннеевропейского и “первичного” американского) преимущественно инструментальным. К общей констатации — “федерализм... может быть *целью*, а может оставаться всего лишь *средством*” [Захаров 2003: 42] — следует добавить то критически важное уточнение, что статусом высшей политической цели федерализм до сих пор обладает лишь в США (и, возможно, в Швейцарии). Частичное заимствование отдельных элементов американского федералистского опыта, их сочетание с прямо противоположными по духу подходами (резервированное за федеральным правительством Индии и активно им используемое право менять по своему усмотрению границы штатов; российское убеждение в необходимости “единой вертикали власти” и яростная борьба за ее воздвижение на проблематичном фундаменте; практикуемая в Австрии концентрация на федеральном уровне более чем трех четвертей налоговых сборов) приводят к тому, что современные федерации с трудом выдерживают сличение со своим американским прообразом. Они суть его бледные, искаженные подобию — то есть, в свою очередь, “вторые”, “слепые” копии имперской модели. Федерализм, как общее правило, коннотирует со слабостью центра (внешней и/или внутренней, исходно наличествующей или как раз и достигаемой в результате федерализации), и лишь в Америке он стал источником силы. Учреждение федерации не сформировало сопоставимый по мощи макросоциальный центр более нигде. Речь не идет, конечно, о монокаузальном объяснении той роли, которую ныне играет в мировом порядке Америка. Но эта роль не может быть удовлетворительно объяснена без учета уникальных черт американского федерализма.

Сегодня американский имперский проект, судя по всему, окончательно перешел из латентной фазы в открытую. Явилась империя Запада.

* Кстати, дополнительным аргументом в защиту федеративного дизайна современной России, целесообразность которого продолжает обсуждаться, могла бы быть именно имперская генетика российской политики. Асимметричной, алогичной, но исторически органичной *реальной* конституции постимперского политического тела более всего соответствует также асимметричная, пускай отчасти противоречивая... зато, по крайней мере, соответствующая этому телу федеративная *формальная* Конституция.



Центр ее, безусловно, располагается в Америке, хотя к Америке она несводима — так же как несводима была Римская империя к Вечному Городу и даже к Италии*. В этой системе центр империи, в полном соответствии с классическими моделями, окружен поясами обладающих разным статусом *федератов*, в числе которых, кстати, нередки и недавние варвары. “Задача перевода имперских установлений на локальные языки и их соединения с местной традицией, вообще задача, так сказать, *местного самоуправления в государственном масштабе* возложена на элиты отдельных стран, с одной стороны, соединенные пуповиной с их материнскими сообществами, с другой стороны, более или менее плотно интегрированные в состав глобального истеблишмента” [Каспэ 2003: 7]. И микрофедеративная организация этих лишь по инерции именуемых суверенными правительствами субцентров (а также смежные с федерализмом, хотя и отличные от него тенденции децентрализации, регионализации, автономизации и прочей субсидиарности) оказывается вполне функциональной, поскольку существенно облегчает их интеграцию в состав глобальной макрофедерации — сиречь империи. Федерализм возник как суррогат империи — и растворяется в ней, когда империя возвращается.

Этому процессу можно противостоять — если того потребует индивидуальный ценностный выбор. Ему можно содействовать — в подобном же случае. Его нельзя игнорировать. И любая осмысленная работа с федералистскими практиками, аналитическая или политическая, должна основываться на исторически корректном понимании их природы и происхождения, их генеалогии — и, следовательно, телеологии.

- Бурстин Д. 1993а. *Американцы: колониальный опыт*. М.
Бурстин Д. 1993б. *Американцы: национальный опыт*. М.
Валлерстайн И. 2001. Три случая гегемонии в истории капиталистической мироэкономики. — Валлерстайн И. *Анализ мировых систем и ситуация в современном мире*. М.
Васильев В.И. 2000. *Германский федерализм: проблемы развития*. М.
Захаров А.А. 2003. *E pluribus unum. Очерки современного федерализма*. М.
Ильин М.В. 1997. *Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий*. М.
Каспэ С.И. 2003. Империя под ударом. Конец дебатов о политике и культуре. — *Полития*, № 1.
Каспэ С.И. 2005. Апология центра: о забытом методологическом ресурсе политической науки. — *Полис*, № 1.
Кинг П. 2000. Классифицирование федераций. — *Полис*, № 5.
Клоутс А. 1933. Конституционные основы республики человеческого рода. — *Атеизм в борьбе с церковью в эпоху Великой французской революции*. Ч. 1. М.
Кнабе Г.С. 1994. Историческое пространство Древнего Рима. — Кнабе Г.С. *Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима*. М.
Легойда В.Р. 1999. Гражданская религия США: некоторые символы и ритуалы. — *Полития*, № 4.
Линд М. 2002. Второе падение Рима. — *Интеллектуальный форум*, вып. 9.
Малинин Ю.П. 1995. “Королевская троица” во Франции. — *Одиссей. Человек в истории*. М.

* Авторскую версию imperial vision современного мира в развернутом виде см. Каспэ 2003.

- Моммен А. 1992. Федерализм и национальное государство (К истории вопроса). — *Полис*, № 4.
- Остром В. 1993. *Смысл американского федерализма*. М.
- Перкинс Б. 1993. Парус и призма. — *Новый взгляд на историю США: Американский ежегодник*. 1992. М.
- Салмин А.М. 1997. *Современная демократия: очерки становления*. М.
- Салмин А.М. 2002. Российская Федерация и федерация в России. — *МЭиМО*, № 2.
- Смирнягин Л.В. 1998. *Российский федерализм: парадоксы, противоречия, предрассудки*. М.
- Токвиль А. де. 1992. *Демократия в Америке*. М.
- Федералист*. 2000. М.
- Фляйнер Т. 2001. Швейцария: субсидиарность, этническое и культурное разнообразие. — *Материалы конференции “Федерализм: российское и швейцарское измерения”*. Казань, 22-23.06. (<http://kazanfed.ru/actions/konfer2/dok11/>).
- Хархордин О.В. 2002а. Предисловие редактора. — *Понятие государства в четырех языках*. СПб.
- Хархордин О.В. 2002б. Что такое “государство”? Русский термин в европейском контексте. — *Понятие государства в четырех языках*. СПб.
- Чистозвонов А.Н. 1993а. Республика Соединенных провинций. — *История Европы*. Т. 3, ч. 2. М.
- Чистозвонов А.Н. 1993б. Швейцарская Конфедерация. — *История Европы*. Т. 3, ч. 2. М.
- Шилз Э. 1972. Общество и общества: макросоциологический подход. — *Американская социология: перспективы, проблемы, методы*. М.
- Элазар Дж. 2002. Европейское сообщество: между государственным суверенитетом и субсидиарностью. — *Казанский федералист*, № 4.
- Элейзер Дж. 1995. Сравнительный федерализм. — *Полис*, № 5.
- Ямпольский М.Б. 2004. *Физиология символического. Кн. 1: Возвращение Левиафана*. М.
- Arendt H. 1965. *On Revolution*. N.Y.
- Armstrong J.A. 1982. *Nations before Nationalism*. Chapel Hill.
- Balibar E. 1992. Nation, citiy, empire (La problime de la forme politique bourgeoise). — *Les frontiures de la dūmocratie*. Paris.
- Bellah R.N. 1967. Civil Religion in America. — *Daedalus*, № 96.
- Bellah R.N. 1992. *The Broken Covenant: American Civil Religion in a Time of Trial*. Chicago.
- Beveridge A. 1900. In Support of American Empire. — *Congressional Record*, vol. XXXIII.
- Borden M. (ed.) 1965. *The Antifederalist Papers*. East Lansing.
- Cherry C. (ed.) 1998. *God’s New Israel: Religious Interpretations of American Culture*. Chapel Hill.
- Creveld M. van. 1999. *The Rise and Decline of the State*. Cambridge.
- Eisenstadt S.N. 1988. Transcendental Vision, Center Formation, and the Role of Intellectuals. — Greenfeld L., Martin M. (eds.) *Center: Ideas and Institutions*. Chicago, L.
- Elazar D. 1993. Covenant and the American Founding. — *The Daniel Elazar On-Line Library* (<http://www.jcpa.org/dje/articles/cov-amer.htm>).
- Elazar D. 1998. *The Covenant Tradition in Politics. Vol. III. Covenant and Constitutionalism: the Great Frontier and the Matrix of Federal Democracy*. New Brunswick, N.J.
- Elliot J. 1896. *The Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution. Vol. 3*. Philadelphia.
- Greenfeld L., Martin M. 1988. The Idea of the “Center”: An Introduction. — Greenfeld L., Martin M. (eds.) *Center: Ideas and Institutions*. Chicago, L.

- Ignatieff M. 2003. The Burden. — *New York Times Magazine*, 05.01.
- Kendall W., Carey G. 1995. *The Basic Symbols of the American Political Tradition*. Washington.
- Miller P. 1983. *The New England Mind. From Colony to Province*. Cambridge, Mass.
- Merk F. 1995. *Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation*. Cambridge, Mass.
- Riker W.H. 1964. *Federalism: Origin, Operation, Significance*. Boston.
- Rokkan S. 1980. Territories, Centres, and Peripheries: Toward a Geoethnic-Geoeconomic-Geopolitical Model of Differentiation within Western Europe. — Gottmann J. (ed.) *Centre and Periphery: Spatial Variation in Politics*. Beverly Hills, L.
- Sartre M. 1992. L'Empire romain comme module. — *Commentaire*, vol. 15, № 57.
- Seligman A. 1987. The American System of Stratification. — Eisenstadt S.N., Roniger L., Seligman A. *Centre Formation, Protest Movements, and Class Structure in Europe and the United States*. N.Y.
- Shils E. 1975. *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*. Chicago.
- Shils E. 1988. Center and Periphery: An Idea and its Career, 1935 — 1987. — Greenfeld L., Martin M. (eds.) *Center: Ideas and Institutions*. Chicago.
- Stephanson A. 1995. *Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right*. N.Y.
- Tilly C. 1997. How Empires End. — Barkey K., Hagen M. von. (eds.) *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building*. N.Y., L.
- Verney D. 1995. Federalism, Federative Systems, and Federations: The United States, Canada, and India. — *Publius: The Journal of Federalism*, vol. 25, № 2.
- Weir D. 1990. *The Origins of the Federal Theology in Sixteenth-Century Reformation Thought*. Oxford.
- Where K.C. 1980. *Federal Government*. Westport, Conn.
- Where K.C. 1991. What Federal Government Is. — *The Federalist*, vol. 33, № 1.
- Winckler A. 1992. L'Empire revient. — *Commentaire*, vol.15, № 57.
- Zimmerman J.F. 2005. *Congressional Preemption: Regulatory Federalism*. Albany.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного Университета — Высшей школы экономики (программа исследовательских грантов 2004 г.)